DK161
K591

# КАРЛ РАДЕК

# НЕМЕЦКИЙ НОЯБРЬ

БИБЛИОТЕКА „О Г О Н Е К"

№ 210

АКЦ. ИЗДАТ. О-ВО „ОГОНЕК"

МОСКВА—1927

О ГЕНРИ

ПРИНЦ ИЗ СКАЗКИ

РАССКАЗЫ

А. ЗУЕВ

ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ

РАССКАЗЫ

МАРСЕЛЬ МАРТИНЭ

ПРОКЛЯТЫЕ ГОДЫ

Д. ФРИДМАН

МЕНДЕЛЬ МАРАНЦ МЕНЯЕТ КВАРТИРУ

П. БЛЯХИН

БОЛЬШЕВИК МАМЕДКА

КИНО-РАССКАЗ

АЛ. ЯКОВЛЕВ

ЖЕНИХ ПОЛУНОЧНЫЙ

РАССКАЗЫ

Д. ФРИДМАН

ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЕЛЯ МАРАНЦА

ЕФИМ ЗОЗУЛЯ

ВЕСЕННИЕ РАССКАЗЫ

Л. НИКУЛИН

ПРОТИВНЫЙ СЛУЧАЙ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

МАРК КОЛОСОВ

КОМСОМОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

АРК. АВЕРЧЕНКО

ЧЕЛОВЕК ЗА ШИРМОЙ

РАССКАЗЫ О МАЛЕНЬКИХ ДЛЯ БОЛЬШИХ

МАРК ТВЭН

ПОЧЕМУ Я ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

РАССКАЗЫ

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

В. ГЕРЦОГ

ЗАПИСКИ МЕЖДУПАЛУБНОГО ПАССАЖИРА

КОНРАД БЕРКОВИЧИ

371
054

КАРЛ РАДЕК

X

ЕН 161
Н 591

# НЕМЕЦКИЙ НОЯБРЬ

X

1923

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“
Москва — 1927

ЕН 161
Н 591

«Мосполиграф»
Типо - цинкография
«Мысль Печатника»
Москва, Петровка, 17.
Тираж 13.000.
Главлит № 70.534

Библиотека
Института Ленина
при Ц.К. В.К.П. (б.)
9/9403
1826
26
22 3/2 с1.
1058923

# I. КРУШЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА.

Меня вызвал к телеграфному аппарату тов. Иоффе, наш полпред в Берлине, и сообщил:

«Только что получил сведения, что германское правительство решило обратиться к союзникам с предложением перемирия и мирных переговоров».

Самый факт, что Иоффе передает сообщение не шифром, а открыто — по аппарату Юза,— не оставлял сомнений насчет серьезности источника полученных сведений. Но все-таки, из осторожности, я спросил:

— Даете ли себе отчет в серьезности вашего сообщения и возможных его последствиях?

Иоффе ответил:

— Принимаю полную ответственность за сообщенное.

Само собой понятно, я немедленно передал сообщение советскому правительству. Оно подействовало на нас, как весть об освобождении. Наше положение в последние месяцы очень ухудшилось. Сведения нашей разведки указывали на то, что

кольцо на шее Советской России затягивается с каждым днем все больше и больше. Немцы не только сидели в Украине, но налаживали связь с Красновым и Деникиным. В Пскове шла подготовка белых отрядов. Раковский, проездом в Вену, видел там в гостинице совершенно открытую вывеску вербовочного бюро. В Финляндии немцы укрепились, и Петроград был под ударом. Мы расценивали положение таким образом, что немцы считаются с возможностью возвращения союзникам Бельгии, и поэтому подготовляют захват Москвы и Питера, дабы иметь их в руках в качестве козырей при переговорах. Ряд мемуаров, которые появились после германской революции, полностью подтверждают наши тогдашние опасения. Из протоколов совещаний германского правительства, изданных в 1919 году, совершенно отчетливо явствует, что генерал Гофман требовал разрешения затянуть над Советской Россией кольцо. Но теперь мы видели, что немцы предлагают союзникам переговоры о мире. Очевидно, положение на фронте было хуже, чем мы предполагали. А тов. Свердлов все-таки говорил работникам Наркоминдела и Наркомвоена:

— Будьте на страже! Осенние мухи больно кусаются.

Мы ждали событий с громадным напряжением. День за днем приходили новые сведения о растущей панике в Берлине. Началась игра кошки с мышью: Вильсон делал совершенно открытые намеки на необходимость устранения Гогенцоллернов, как условия для ведения мирных переговоров. Он об'единял

методы гофманских угроз с агитацией Троцкого. Союзные правительственные радио оповещали весь мир о переписке Вильсона с германским правительством. Эти радио обстукивали германский фронт не менее опасными ударами, чем это делали американские и французские пушки.

Бухарин, находившийся в Берлине, сообщал нам о растущем брожении среди рабочих, о выкристаллизировании левого крыла среди независимцев, берущего курс на революцию. Пришли сведения об освобождении Либкнехта: от него получено было несколько горячих строк. Мы почувствовали, что германская революция имеет теперь вождя. Независимцы требовали от нас отказа от взноса дани, предписанной нам Брестским миром. Но Владимир Ильич воспротивился этому и говорил: «Стоит уплатить за то, чтобы Иоффе мог еще оставаться в Берлине». Вдруг пришли сведения о прорыве болгарского фронта. За ними — сведения, что Австрия сдается на милость врага.

Ко мне прибежал австрийский посол де-Потере, чистенький, гладко выбритый старичок, словно игрушка, изображающая бюрократа XVIII столетия. Он был в полной растерянности. По карте я об'яснил ему требования, которые Италия пред'явила Австрии. Старичок разрыдался.

— Ну, бросьте,— пытался я успокоить его.— Я понял бы еще волненье немецкого посла. Но что вам, венгерскому итальянцу, волноваться, если Австрию обкарнают или она немножко распадется.

— Видите,— отвечал старичок,— тридцать пять лет я на дипломатической службе... Патриотизм, это — своего рода привычка, а отчасти дипломатическая обязанность.

Пришли сведения о начале революции в Австрии. Это было в субботу ночью, когда верстались уже газеты. Ильич и Свердлов приказали мне писать воззвание.

— Но где же мы его напечатаем? Наборщиков уже нету.

— Будут,— сказал Бела-Кун.— Дайте только хлеб и колбасу.

Он отправился с учениками венгерской партийной школы искать военнопленных наборщиков. В четыре часа ночи Бела-Кун прибежал за рукописью воззвания. И, когда утром я вышел на улицу, уже из рук в руки переходили листки со сведениями о революции в Австрии. В это время со всех концов города шли демонстрации к Московскому Совету. С балкона Совета мы смотрели на море голов, которое волнами перекатывалось от Страстной площади и от Моховой. Вдруг по толпам пронесся крик, который рос и ширился, как ураган. В толпе медленно двигался автомобиль. Мы догадались, что Ильич не выдержал, и первый раз после своего ранения выехал из Кремля. Лицо у него было взволнованное и очень озабоченное. Я не понимал в тот момент, почему этот чуткий страж революции озабочен.

Когда Ильич появился на балконе, над площадью, заполненной десятками тысяч рабочих, разразилась

буря ликования. Подобного зрелища я никогда не видел больше. До позднего вечера шли шеренги рабочих, работниц и красноармейцев. Чувствовалось, что приближается мировая революция. Народная масса услышала ее железный шаг. Наше одиночество кончилось.

Новая телеграмма от Иоффе: его изгоняют из Берлина. Что сие означает? Социал-демократы боятся нашей агитации?

Ильич иначе толковал дело: «Германия капитулирует перед Антантой и предлагает ей свои услуги для борьбы с русской революцией». Вот его разгадка. Теперь известно, что эта разгадка Ильича была вполне правильной. Эрцбергер недвусмысленно предлагал союзникам: за более выгодные условия мира бросить германские войска против Советской России.

Иоффе был немедленно посажен в поезд. Но он еще не доехал до нашей границы, как радио-станция на Ходынке перехватила телеграмму, посланную с военного корабля в Киле:

«Сегодня мы хороним первые жертвы революции. Над германским флотом водружено красное знамя. Пусть оно водрузится над всей Германией и пусть наши жертвы будут последними».

Получив эту телеграмму, я поехал немедленно на Ходынку. Мы вызывали без конца Киль, но радиостанция в Науене посылала встречные волны, чтобы помешать нам. Наконец, через несколько часов, мы имели перехваты союзных радио, извещающие о революции в Германии.

Поезд с Иоффе прибыл в Борисов. Мы передали ему по юзу сведения о событиях в Германии и требовали, чтобы он не уезжал с территории, занятой германскими войсками, ибо мы немедленно предложим новому германскому революционному правительству взять обратно распоряжение о его высылке, предписанной последним кайзерским правительством.

Я начал вызывать по юзу берлинское министерство иностранных дел. Связи шли через Ковно, и генерал Гофман прерывал их. Наконец, министерство ответило.

— Кто у аппарата? — спросил я.

— Юзист министерства иностранных дел в Берлине.

— Вызовите к аппарату народного уполномоченного господина Гаазе.

— Его нет в министерстве.

— Вызовите к телефону его заместителя, министра Сольфа.

— Его нет в министерстве.

— Кто же их замещает?

— Никого нет в министерстве. Все разбежались.

— Тогда пошлите искать Гаазе или Либкнехта.

— Некого послать.

— Я вам приказываю именем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов за вашей ответственностью перед Советом рабочих и солдатских депутатов Берлина.

Молчание. Но связь не перервана. Аппарат стучит: Берлин, Берлин, Берлин, Берлин. Наконец, ответ:

— Хорошо. Отправляюсь искать.

На наших московских фабриках творилось что-то неописуемое. Такого энтузиазма я никогда еще не видел. Я выступал на Прохоровской Мануфактуре. Говорил о том, что германская революция—не только величайшая наша победа, но одновременно и величайшая обязанность. Мы только летом этого года почувствовали, что такое голод. А они, немецкие рабочие, жили три года осьмушкой хлеба и свеклою. Я говорил о том, что нам придется из скудных наших средств помогать германской революции хлебом. Я смотрел в лица слушателей и видел, что передо мною были люди, полные воодушевления и готовности к жертвам. Я не мог найти ни одного безразличного или усталого лица. Я крикнул: «Будем голодать, но нашим немецким братьям поможем». Это мое восклицание было единодушно подхвачено массой рабочих и работниц.

Я вернулся в комиссариат. Меня известили по телефону из германского посольства, что Берлин нас вызывает. Поехал на Денежный переулок. Сначала к аппарату явился депутат-независимец, Оскар Кон. Он информировал меня кратко о положении и высказал надежду, что Иоффе скоро сможет вернуться в Берлин, и известил, что к нозу подходит второй председатель правительства народных уполномоченных, уполномоченный по иностранным делам Георг Гаазе.

Гаазе с адвокатской вежливостью передал нам привет правительства народных уполномоченных и благодарность его за наше предложение посылки

хлеба. Он задержался на момент. Жуткое молчание. Я чувствовал, как стучит мое сердце. Мы стояли с тов. Чичериным, не отворачивая глаз от ленты юза. На ней медленно поползли буквы:

«Но, зная, что в России голод, мы просим обратить хлеб, который вы хотите пожертвовать для германской революции, в пользу голодающих в России... Президент американской республики Вильсон гарантировал Германии получение хлеба и жиров, необходимых для прокормления населения зимой».

В этот момент мне представилось лицо старой текстильной работницы Прохоровской Мануфактуры, которая, имея голодных детей дома, охотно протягивала последний кусок хлеба немецким братьям; но протянутая рука повисла в воздухе; вождь германской революции, Гаазе, предпочитает получить помощь хлебом и салом от вождя американской плутократии Вильсона. Ему не нужна помощь русской революции. Второй раз после 4-го августа Иуда из Карпота совершил свое предательство. Мы спросили, сохраняет ли силу высылка Иоффе. Гаазе ответил, что его правительство радо будет вступить в переговоры с нами о восстановлении дипломатических сношений, но раньше просит позволить оставшимся еще в Москве немецким консулам выехать для доклада в Берлин. Пусть тов. Иоффе уедет в Москву, а позже договоримся.

Самые худшие ожидания оправдались.

Мы заявили, что не намерены задерживать немецких консулов, но что обращаем внимание правительства уполномоченных, что генералитет герман-

ских войск, находящихся в Прибалтике, в Белоруссии и в Литве, вооружает буржуазию, чинит насилия над рабочими и крестьянами, а это может привести к столкновению с нашими войсками, ибо мы, аннулировав Брестский договор, не считаем эти территории ушедшими от РСФСР; что население этих территорий, по нашему мнению, должно решать свою участь свободным голосованием, которое невозможно в присутствии вооруженных сил Германии или при наличии оружия в руках буржуазии и отсутствия его у рабочих и крестьян этих областей, захваченных германским империализмом. Мы бы считали необходимым по этому поводу переговоры с представителями правительства народных уполномоченных. Предлагаем для этой цели поездку Иоффе или кого-нибудь из нас в Берлин, или приезд немецкого уполномоченного в Москву. Гаазе ответил вяло и коротко, что он передаст наше предложение своему правительству. Мы указали ему, что время не терпит, и всякий день может принести столкновение. Он ответил, что не может сам установить срок ответа. Тогда мы заявили: «Мы извещаем вас, что, если в трехдневный срок не получим твердого вашего ответа на выдвинутые нами вопросы, Красная армия будет иметь свободу действий, и ответственность за затруднения в эвакуации ваших войск падет исключительно на вас».

«Я постараюсь ускорить ответ»,— заявил Гаазе и, расточая по адресу любезности, по нашему адресу, перервал разговор. В эту ночь я отправил по радио за своей подписью в берлинский совет длинную

телеграмму, характеризующую политику Эберта и Гаазе, как политику сделки союзной буржуазии против русской и германской революции. Мы известили берлинский совет о желании ВЦИК послать свою делегацию на предполагаемый с'езд германских советов. В ту же самую ночь я написал брошюру, предназначенную для распространения среди германских солдат «Trau, Schau, wem!» («Смотри в оба»).

Вскоре австрийские и немецкие военнопленные захватили московские помещения своих посольств. Австрийский посол де-Потере пришел ко мне. Я спросил его:

— Что же, очень вас притесняют?

— Нет,— ответил он, улыбаясь.— Очень милые молодые люди: предоставили мне спальню и кабинет. Во всех прочих комнатах устроились сами. Но, если вы уж так любезны в заботах обо мне, то, может быть, вы обратите их внимание, что я ничего не имею против того, что они принимают ночью у себя девушек; но почему непременно ходить с ними через мою спальню?! Я еще не так стар, чтобы относиться безразлично к молодым девушкам...

Де-Потере был более живуч, чем австрийская монархия.

Немецкие чиновники держались трусливо. Только военный атташе, полковник Шуберт, приходил ко мне с просьбой одолжить «Коммунистический Манифест» и «Анти-Дюринга». Он читал Ленина «Государство и Революция», и в разговорах проявлял проблески понимания того, что происходит.

За подписью Брутуса Молькенбура мы получили приглашение на с'езд германских советов. Была составлена делегация из т.т. Иоффе, Раковского, Бухарина, меня и Игнатова. Мы собрались с Ильичем и Свердловым переговорить о линии поведения на с'езде. После разговора Ильич задержал меня. Лицо его было так же озабочено, как на балконе Московского Совета.

— Начинается серьезнейший момент, — говорил Ильич.— Германия разбита. Путь для Антанты в Россию очищен. Даже если Германия не будет принимать участия в походе против нас, союзники имеют развязанные руки. Франшетт Деспре может двинуться со всей балканской армией союзников чрез Венгрию и Румынию на Украину. Могут перебросить войска через Дарданеллы. Они в их руках.

— Вряд ли,— отвечал я.— Войска, истосковавшиеся по мире, вряд ли захотят пойти против нас.

— Союзники перебросят цветные войска,— продолжал Ильич.— Как вы будете агитировать среди них?

— Будем агитировать картинками. Но вряд ли цветные войска выдержат наш климат. Если революция не придет скоро в страны союзников и они смогут послать свои войска в страну революции, то эти войска здесь разложатся,— ответил я.

— Посмотрим,— был ответ Ильича.

Позже, в речи, произнесенной в 20-м году, он вспоминал этот разговор. Он начал меня инструктировать насчет работы, если я останусь в Германии:

— Помните, что вы будете действовать в тылу у врага. Интервенция неминуема, и от положения в Германии будет многое зависеть.

— Германская революция — чересчур большое событие, чтобы ее рассматривать, как диверсию в тылу у противника,— ответил я настороженно.

— Да,— сказал Ильич.— Я не предлагаю вам форсирования событий, они будут развиваться по внутренним законам германской революции.

## II. В ПЛЕНУ У ГЕНЕРАЛА ФАЛКЕНГЕЙМА.

Мы простились. На следующий день приехал из Двинска член совета солдатских депутатов стоящего там германского гарнизона. Он рассказал нам, что началась борьба солдат с офицерством, перешедшим внешне на сторону революции, и предлагал от имени левой части совета ехать в Берлин через Двинск. Мы приняли предложение. Тов. Свердлов вручил нам, для потребностей делегации, двести тысяч марок; это была вся сумма, которую мы повезли с собою; кроме того, на дорогу нас должны были снабдить из кладовой ВЦИК провиантом. Когда мы все приехали на вокзал, я увидел, что нагружают в наш поезд две бочки. Спросил, что это такое. Оказалось, что это была бочка с манной кашей и медом. Что-то напутали в Хозчасти ВЦИК, и мы должны были кормиться по дороге к германской революции манной кашей, как древние евреи, отправляющиеся из Египта в землю обетованную. Я выругался. Но Свердлов при-

крикнул на меня: «Бери, может пригодиться». Так, с манной кашей, и поехали.

Приехали в Двинск. Нас пригласили на заседание Двинского Совета германских солдатских депутатов. Председательствовал офицер—социал-демократ Гофман. Предоставили слово для доклада Иоффе и мне. Солдаты слушали молчаливо. Только у немногих видны были в глазах проблески сочувствия. Ответили нам уклончиво, что, дескать, рады нас пропустить в Берлин, но сами не могут решать; должны запросить правительство. Два дня шли их переговоры с Берлином. Наконец, известили нас, что ночью нас отправят. И, действительно, ночью посадили нас в маленький курортный вагончик, в котором даже негде было вытянуться. Я прилег на груди у Раковского и уснул. Вдруг, сквозь сон, вижу электрическую лампочку, направленную на меня, и лицо со стриженными усиками и моноклем. Это был немецкий офицер, который заявил нам от имени генерала Фалькенгейма, что мы не будем пропущены в Берлин, а будем доставлены обратно в Россию через Минск. Началась перепалка. Я разгорячился и спросил Бухарина по-русски:

— Дадим ли мы себя арестовать какому-то дурацкому офицеру? Ведь нас шесть вооруженных человек!

Вместо Бухарина, германский офицер ответил мне на великолепном русском языке:

— Не беспокойтесь! — и, любезно улыбаясь, открыл двери. На платформе стояло несколько солдат из полевой жандармерии с винтовками. Понятно, что

и без этого нельзя проехать вопреки воле немцев, державших в своих руках страну и железные дороги. Мы приехали на станцию Вилейка. Там попросили нас пересесть в другой вагон. Мы посмотрели через окна, и увидели пулеметы, расставленные веером. Мы отказались покинуть вагон без переговоров с Берлином. Офицер исчез. А через несколько минут платформа наполнилась гудящей толпою немецких солдат, которые кричали и упрекали нас, что мы едем втягивать Германию в дальнейшую войну; сыпалась брань по адресу Либкнехта и Розы Люксембург и угрозы по нашему адресу; солдаты с угрозами лезли в вагон. Ясно было, что офицер улетучился для того, чтобы, в случае чего, иметь возможность представить дело — как расправу солдат, возмущенных против большевиков. Мы перешли в большой русский вагон дальнего следования, в котором и разместились. Вагон, охраняемый солдатами под командой двух офицеров (фамилия одного была Штиглиц, из восточной немецкой разведки), доставил нас на станцию Молодечно и там остановился. Оказалось, что бочки с кашей и медом перекочевали с нами в вагон. Игнатов, у которого в производственном стаже, если не ошибаюсь, значится и практика в поварах, состряпал обед. Когда мы сели обедать, немецкие солдаты присматривались и облизывались. Кто-то пригласил их есть. Лед тронулся. Началась дискуссия. Бухарин излагал им всю теорию империализма. Штиглиц вмешался в дискуссию. Но автор «Теории стоимости рантье» уложил его в две ми-

путы на обе лопатки. Побежденный оружием марксизма офицер разведки сбежал на станцию — подкрепляться яичницей, а мы агитировали солдат. Ночью прибежал Штиглиц, прося не беспокоиться, если услышим пулеметный огонь. «Идет какой-то поезд из Минска»,— сказал он.— «Не знаем, чей».

— Разве немцы ушли из Минска? — спросили мы.

— Нет,— ответил он,— но там что-то происходит. Нельзя добиться толкового ответа.

Скоро пришел поезд. К нам явились немецкие солдаты и рассказали, что русские военнопленные, приехавшие в Минск раздетыми и разутыми, набросились на немецких солдат; часть разоружили, отняли сапоги, часы; что в Минск вошла Красная армия, и в городе происходят рабочие демонстрации; а буржуазия эвакуируется и покупает от немецкой офицерии целые железнодорожные составы для перевоза мебели и другого добра; что немецкий гарнизон отступает пешком; что только им удалось захватить поезд.

Ночью мы услышали разговор сопровождающих нас немцев:

«Чего хотят большевики? Чтобы мы выдали офицеров и оружие? Зачем нам офицера и ружие?! Отдадим. Они нас через Россию отправят домой. А тут мы можем остаться, чорт знает, как долго, и можем погибнуть, как Наполеон».

Это упоминание Наполеона часто я слышал и позже. Очевидно, судьба наполеоновской армии в России очень занимала головы солдат. Мы встали и предложили немецким солдатам двинуться в Минск,

С90/9403
105893 Библиотека Института Ленина

обещая им за это отправку в Германию. Солдаты вышли посоветоваться между собой. Прошло полчаса. Вдруг, мы почувствовали толчок. Оказалось, что солдаты сбежали и совместно со своими офицерами уехали на отцепленном паровозе. А мы остались одни на станции. Снег уже начал падать. Кругом тишина. Идем на станцию и видим, что железнодорожный телеграф не испорчен,— нам ответила комендатура минского вокзала по-русски. Значит, Минск в наших руках. Мы известили комендатуру о нашей судьбе и получили ответ, что скоро за нами приедут. И, действительно, скоро появился вагон с паровозом, и мы поехали в Минск, занятый красными войсками. В Минске шли митинги, заседания только что легализированного губкома. Я связался по юзу с Свердловым и сказал ему, что попытаюсь нелегально пробраться в Германию и попасть на с'езд советов. Свердлов посоветовался с Ильичем, и я получил согласие ЦК.

## III. НЕЛЕГАЛЬНО ЧЕРЕЗ ГЕРМАНИЮ С ОТСТУПАЮЩИМИ ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ.

В Минске нашелся Фрицланд-Рейтер, немецкий военнопленный, независимец, и Феликс Вольф, молодой немец, который перед войной поступил на службу в русский банк. Во время войны был гражданским пленным в России, но, вместо того, чтобы сидеть в лагере, он работал на фабрике, и вступил еще в 16-м году в нелегальную нашу организацию в Сибири.

В 17-м году партизанил, в 18-м мы его отправили на западный фронт для агитации среди немецких солдат, которую он вел с большим самоотвержением и смелостью. При первых сведениях о германской революции он пробрался в Минск и вел широкую агитацию в гарнизоне, организуя солдатский совет. Феликс Вольф взял на себя организацию переотправки меня в Германию. Имея на руках документы австрийских военнопленных, мы двинулись поездом до последнего пункта, занятого нашими войсками, и оттуда на двух нанятых санках поехали дальше — я, Вольф, Рейтер и один товарищ из немкоммуны. Ехали днем и ночью среди отступающих войск. Пропускали нас, не спрашивая, кто мы такие. Навстречу нам двигались группами босые или в деревянных сапогах, оборванные, голодные русские военнопленные. Бежали из всех лагерей. Ветер и снег бьет их по лицам; они окоченели, но идут. Вырвались из ада. Нет для них усталости. Нет голода. Нет холода. У всех одно страстное желание: только добраться домой.

Ночь. Крестьянин, везущий нас, поворачивается к нам и, не спрашивая, кто мы такие, начинает рассказывать про свою жизнь: он принимал участие в крестьянском движении в 1905 году. Затем уехал в Америку. Работал там на фабриках. Скопил гроши и вернулся в 1912 году. Начал хозяйничать. Война его разорила. Спрашивал, когда займут наши Литву. Приехали в Свенцянский уезд, на то место, где Эйхгорн прорвал русский фронт. Между прочим, тут родились Дзержинский и Пилсудский; один

уезд дал Польше представителей двух основных политических линий ее развития. Здесь всюду видны окопы и землянки. Из землянок маячит огонь. Взяв чай, военные консервы и маузеры в руки, мы вошли в одну землянку, похожую на берлогу, в которой жила крестьянская семья. В середине землянки висит у потолка люлька с ребенком. При нашем появлении хозяева перепугались. Дали нам кипятку и начали присматриваться, как мы разогреваем консервы и приготовляем чай. Когда закуска была готова, мы пригласили их кушать. Набросились на консервы, даже грудному ребенку дали мяса и чаю. Теперь они успокоились и рассказали, что они беженцы; тут, где теперь окопы и землянки, стояла их хата; когда немцы ушли, они вернулись; ждут весны и красных войск.

Под утро мы приехали в маленький городишко. На площади — костры, около которых грелись немецкие солдаты. Начинаем с ними разговор по-немецки:

— Почему не пытаетесь разместиться по домам?

Отвечают:

— Чтобы нас зарезали!

— Почему же вас должны резать?

— У всякого своя обида: у кого курицу отняли, у другого фунт масла; голодно было; надо было домой посылать кое-что, ибо жены кормились только свеклой; а теперь, может быть, придется расплачиваться; погибнем, как Наполеон.

Постучали мы в дом. Нам открыли и дали ночлег; даже напоили чаем. Хозяева — мелкогородская бед-

нота. Смотрят приветливо. Понимают, кто мы такие. Утром простились с крестьянами, которые нас везли, и взяли еврейских лошадей до Вильно. Едем. На всяком изгибе дороги извозчик выбрасывает нас из саней. Лошади устали. Даем ему деньги на овес. Лошадям он купил только горсточку овса, а деньги спрятал. Он ведь тоже кушать хочет. Приехали в обед в маленький городишко. Пошли в корчму. За прилавком — старая еврейка и молодой двадцатилетний сын. Осматривают нас. Сын шушукается с матерью. Потом спрашивает нас, не хотим ли мы получше отдохнуть. Для таких хороших гостей они и кровать уступят.

Спрашиваем:

— Почему думаете, что мы хорошие?

— Вы — большевики.

Напоили нас, накормили, а после стали рассказывать о своих заботах: дочь хозяйки — портниха, у нее жених — бундовец; его немцы угнали в Германию в военный лагерь. Показывают фотографию. Беру адрес. Может, смогу помочь. Едем дальше. Подъезжаем к Вильно и направляемся к освещенному не то кабаку, не то гостинице, в которой и располагаемся на ночлег. Через некоторое время пришел Феликс Вольф и сообщил, что пьянствующая полевая немецкая жандармерия подготовляет уход из города. После ухода Феликса Вольфа в город, в комнату вошел портье и спросил: не нужны ли нам барышни? Есть у него дочь настоящего русского генерала; только для таких хороших господ, как мы.

Вернувшийся Феликс сообщил нам, что немцы никого не впускают в Германию без свидетельства о том, что человек избавился от вшей. На следующий день Феликс за двадцать марок купил для нас всех свидетельства, что у нас нет вшей; затем пошел к австрийскому офицеру и добыл бумагу, что мы, австрийские военнопленные, имеем право проезда через Германию, и власти обязаны нас кормить. На следующий день должен отправляться поезд. Идем в город. Феликс уже узнал, что есть совет виленских рабочих депутатов. Пошел туда. Нашел нашего товарища, Карла Тихоцкого. Через час мы уже у старого рабочего, который с восьмидесятых годов в революционных кружках. Две чистых комнаты с кухней. Шкаф с книгами. Осматриваю по привычке книги и чувствую, как глубокое волнение охватывает меня: я вижу все те легальные и нелегальные издания, на которых я учился когда-то социализму. Тихоцкий рассказывает, что Фалькенгейм вооружает буржуазию. Передает сведения о Польше. Видны какие-то приготовления пилсудчиков для захвата Вильно. После небольшой дискуссии о нашем поведении на завтра, я остался ночевать у рабочего. Тут безопаснее, чем в гостинице. Он приготовил чай из моркови, и за чаем рассказал про давние времена: был он в кружках у Дзержинского; знает Козловского. Сидим долго. Передо мной встает весь путь польского социализма. Наконец, ложимся спать. Но не спится. Держу в руках брошюру, изданную группой «Борьба классов» о первом процессе пролетариата. Читаю речи на суде первых

наших мучеников. Когда их присуждали к каторге, Феликсу Яковлевичу Кону было тогда 18 лет. Он считал, что просидит только три года, ибо в 89 году, в сотую годовщину французской революции, должно что-то случиться. А просидел до 1905 года — 20 лет. И только теперь, с опозданием на тринадцать лет, произошла русская пролетарская революция, и вот началась германская революция.

Утром под командой нашего Феликса отправились на поезд, чуть ли не с австрийским взводом. Скакали по рельсам, чтобы пробраться в вагон раньше, чем его откроют для всех, и засели первыми. Разве мы не имеем бумаг о том, что нас обязаны возить и кормить? Скоро вагон наполнился народом так, что дышать нельзя было. На каждой станции лезли через окна. Идут разговоры. Вот сидит молодой парень, военнопленный немец, держит между коленами мешок с сухарями и расхваливает Россию: работал он у мужика; мужик старый, а жена молодая; помогал он мужику во всем — к удовольствию жены и мужа; прощались с ним, как с сыном, когда собрался он в фатерланд; дали на дорогу мешок сухарей, чтобы не голодал. Военный врач понял из нашего разговора, что мы интеллигенты, и стал расспрашивать нас о России. Мы осторожно нащупываем, не хвалим Советской России, но рассказываем, что у богатых большевики все отнимают, а бедным дают; говорим, что большевики заводят твердый порядок; армию ухитрились создать с дисциплиной. У одних слушателей огонек в глазах, когда говорим о социальной политике советского правительства,

у других глаза блестят, когда говорим про твердый порядок. Нельзя немцу без порядка. Офицер начинает шопотом рассказывать нам, что, как только солдаты начали поговаривать про советы, Гинденбург приказал не чинить препятствий, но проталкивать в советы более популярных унтеров да офицеров, чтобы взять советы в руки.

Эйдкунен.

## IV. С РОЗОЙ И КАРЛОМ.

Сколько раз проезжал я через эту станцию! Сколько раз жандармы обыскивали меня здесь! С перрона кричат, чтобы гражданская публика выходила на осмотр. Мы не двигаемся. Разве мы не австрийские солдаты? Но никто вообще не двигается, ибо нельзя протиснуться. Так проезжаем и Кенигсберг. Через несколько часов, проведенных в полусне, наконец, высаживаемся на вокзале в Берлине. Вокзал грязный, запачканный. Покупаю «Роте Фане» и еду в гостиницу. Еще в автомобиле просматриваю газету. Охватывает меня страх. Тон в «Роте Фане» — как при последнем наступлении. Ищу адрес редакции. Отправляюсь прямо в редакцию. Дверь открывает Фани Езерская. В редакции: Либкнехт, Роза Люксембург, Тальгеймер, Павел Леви. Короткий первый разговор. Либкнехт все жмет меня. Он взволнован. Говорит отрывочно: — Первый с'езд советов. Созыв учредилки. Теперь с'езд закрывают. Незачем вам сюда итти.—Спрашиваю:—Сколько было наших на с'езде? — Совсем не было спартаковской фракции на с'езде советов. Лауфенберг с группой

гамбургцев занимал какую-то промежуточную позицию. Роза говорит о нем с большим недоверием. В берлинском совете мы тоже не имеем никакой организационной силы. В провинции кое-где лучше. В Бремене под руководством Книфа наши имеют значительную часть совета в своих руках. В Хеммице орудует Брандлер. — А сколько у нас организованных сил в Берлине? — спрашиваю.—Только что собираем силы. Когда началась революция, то мы собрали в Берлине не больше 50 человек.

Еду с Павлом Леви на Фридрихштрассе, в бюро ЦК. Повидать Тышку. Там—как в улье. Всякий входит, куда хочет. Встретил Матильду Якоб, старую машинистку, которая переписывала перед войной мою газетную корреспонденцию «Мировая политика»; во время войны она была близким человеком Розы и Тышки. Ведет меня к Тышке. Очень постарел мой старый учитель. Все время войны на нем лежала главная тяжесть нелегальной работы. Провалился после январской забастовки 17 года. Год просидел в тюрьме. Встречаемся с некоторой натяжкой. С момента раскола в польской социал-демократии в 1912 году не говорили друг с другом. Старого не вспоминаем. Тышка спрашивает меня о Ленине, Троцком, Зиновьеве, Дзержинском. Через несколько минут он уже по-старому сердечен и прост.—Что же,—спрашивает,—хотите ли сидеть у нас только в качестве представителя русского ЦК или по-старому взяться за работу?—Понятно, что хочу взяться за работу,—отвечаю я. Старик, как всегда, конспиратор.—Не верьте легальности,—говорит он.—Теперь

бы не посмели вас арестовать, но надо жить нелегально; при первом столкновении арестуют; охранка ведь наверно втайне сохранилась. Условливаемся, что вечером он, Роза, Либкнехт, Леви и я встретимся за ужином и поговорим о делах.

Вечером повел меня Леви в рабочий кабачок. В задней комнатке сидели уже Роза и Либкнехт. Скоро пришел Тышка. Спор вертелся в первую очередь вокруг террора. Розе было больно, что главою ВЧК является Дзержинский.— Ведь террором нас не задавили,— говорит она.— Как можно надеяться на террор?—Но при помощи террора,— отвечаю я ей,— при помощи преследований нас на много лет отбрасывали от революционной борьбы; ведь наша ставка—на мировую революцию; нам надо выиграть несколько лет времени; как же тут отрицать значение террора? Мало того, террор бессилен по отношению к молодому классу, представляющему будущее общественного развития и поэтому полному воодушевления и самоотверженности; другое дело — класс, приговоренный историей к смерти, имеющий за собою преступления мировой войны.—Либкнехт горячо поддерживает меня. Роза говорит, что, может быть, мы и правы; но она удивляется: как это Юзеф может быть таким жестоким? Тышка смеется и говорит ей:—Если надо будет, и ты сможешь.— Свою ошибку в вопросе о советах, как форме диктатуры, Роза давно признала; признала также, что нельзя было не разделить помещичьей земли. Положение в Германии расценивается так, что здесь мы в самом начале революции; что социал-демократы

еще господствуют над массой; что надо организоваться. Когда я ставлю вопрос об организации особой коммунистической партии, Роза говорит, что Тышка считал это преждевременным, но что теперь убедили его, что нельзя передовикам-рабочим драться без собственного знамени. Я ставлю вопрос, не взяли ли они чересчур сильного тона, не соответствующего еще силе партии. «Когда рождается здоровый ребенок,— отвечает Роза,— он кричит, а не пищит».

Идем с Либкнехтом гулять. На Фридрихштрассе и Унтер-ден-Линден большие толпы; не зевак и фланеров, как в обыкновенное время, а толпы, дискуссирующие о политике. На лицах большая радость. Война кончилась.

Покупаем у лотка шоколад; он с сахарином; какой-то пустой; не насыщает. Но видно, что люди им очень довольны; ведь везде повышение зарплаты, можно себе купить и шоколаду. Идем через пассаж. «Эта толпа,— говорю я Либкнехту,— совсем не чувствует, что над ней повис меч Антанты». «Да,— отвечает Либкнехт,— против Антанты можно говорить только пропагандистски. Кто попытался бы говорить о защите революции против Антанты, толпа съела бы его». Мы ходим около Бранденбургских ворот. Вот кучерский кабачок. Пьют кучера и шоферы. Мы уже забыли, что ели кашу; заказываем свиную ногу с капустой и горохом — излюбленное блюдо берлинских извозчиков; несмотря на карточную систему, оно сохранилось еще в извозчичьих кабаках. Хозяева не имеют прислуги, публика у них знакомая, и поэтому покупают всякую всячину из-

под полы. Завязывается разговор с кучерами. «Вильсон хороший парень. Он заставил бежать эту сволочь — кайзера. Снабжает теперь Германцо хлебом. Он даст хороший мир».

В гостинице шмыгают какие-то подозрительные лица, присматриваются. Еду с Павлом Леви на собрание металлистов. Далеко, на конце Шоссештрассе. Едем через Тиргартен. Идут громадные демонстрации. Демонстрируют против правительства. Удивленный, спрашиваю Леви:—Разве это наши демонстрации?

— Нет, это демонстрации независимых.

— Но как же это? Ведь независимцы в правительстве.

— Да, но берлинская организация в руках левых независимцев; они имеют организацию так называемых революционных уполномоченных, которые принимали участие в подготовке переворота; они против блока с Шейдеманом и Эбертом.

Я вспоминаю сомнения Тышки: не лучше ли подождать с отколом от независимой социал-демократии, пока эти массы не станут перед вопросом об расколе.

Приехали на большой рабочий митинг. Леви куда-то ушел, а меня рабочие-коммунисты заставляют выступать. Я им говорю не только о великих победах русского пролетариата, но и о его страданиях, о гражданской войне и голоде, как пути к победе. Вдруг слышу выкрик:

— А сколько тебе уплатили, чтобы ты клеветал на Советскую Россию?

Это какой-то рабочий, пришедший на собрание после начала моей речи, таким образом понял ту часть моего выступления, в которой я говорил о тяжестях борьбы.

Что такое революция, рабочие реально себе не представляют.

Идет подготовка с'езда. Роза написала набросок о программе Союза Спартака. Он дискуссируется в руководящих кругах и не вызывает никаких споров. Споры вызывает только отношение к учредилке. Либкнехт говорит, что когда он утром просыпается, то он против участия в выборах учредилки, вечером же за участие. Очень соблазнительная идея — противопоставить лозунгу учредилки лозунг советов. Но ведь с'езд-то советов сам за учредилку. Эту ступень вряд ли удастся перескочить. Это признают Роза, Либкнехт, на этом настаивает Тышка. Но партийная молодежь решительно против: «Разгоним пулеметами!»

Первый с'езд компартии Германии — в зале прусского сейма. Около ста делегатов. Много знакомых: Пик, Эрисмайер и другие; но преобладает молодежь, которой перед войной я не знал. Среди нее два русских: Левине, с серьезным задумчивым лицом, бывший эс-эр, воспитанный в Германии, и молодой шустрый Макс Левин, в военной форме, сын бывшего генерального германского консула в Москве, кончивший в Москве гимназию; он — немец, но считается русским. С'ездовской молодежи море по колено. Она считает, что Карл и Роза тормозят, что победа очень близка. Выделяется бывший де-

путат Рюле. Я получаю слово для приветствия от русского ЦК. Это вызывает большую сенсацию среди представителей буржуазной прессы; они бросаются к дверям, чтобы телефонировать в редакции. Но опытный Пик уже распорядился двери закрыть и не выпускает их. С'езд слушает меня с большим напряжением. Единство с русской коммунистической партией и русской революцией — это сердцевина настроений с'езда. С'езд демонстрирует очень ярко молодость, неопытность партии. Связь с массами очень слаба. К переговорам с левыми независимцами с'езд относится иронически. Я не имел еще впечатления, что здесь уже передо мною партия. Авторитет Розы и Либкнехта более личный, завоеванный героизмом и страданиями, чем авторитет политических людей.

Новый год. Провожу вечер и ночь с Либкнехтом. Он весел, как ребенок, несмотря на усталость.— Ничего, справимся. Социал-демократы сильнее нас, но они старики. За нами будет молодежь, подвижная, страстная! Уже независимцы принуждены уходить из правительства. Это толкнет их в оппозицию. События пойдут скорее.

## V. ВОССТАНИЕ СПАРТАКОВЦЕВ.

4-го января прусское правительство устраняет с поста президента полиции левого независимца Айхорна. Он вооружал берлинских рабочих независимцев и коммунистов. Эберт знает, что это устранение рабочие не примут спокойно. Он ищет столкно-

вения, чтобы разоружить рабочих. Теперь это установлено судебными показаниями генерала Гренера перед судом. Но мы об этом и тогда догадывались. И на следующий день после устранения Айхорна прибежал Филипп Прайс, корреспондент «Дейли-Геральд», который в России в 1918 году стал коммунистом, и рассказал мне, что Эрист, запрошенный им о перспективах конфликта, сказал, что если айхорновцы не сдадут оружия, то он разоружит их. На заседании ЦК было решено провозгласить всеобщую забастовку и призвать рабочих на улицу. Я спросил Розу Люксембург, какие задачи мы себе ставим. Она ответила, что забастовка есть забастовка протеста. Посмотрим, на что решится Эберт. Как откликнутся на события в Берлине рабочие из провинции, и тогда дальше видно будет. Либкнехт же в частном разговоре сказал мне, что если невозможно еще наше правительство, то возможно правительство Ледебура, опирающегося на революционных уполномоченных.

Участие масс в демонстрациях и забастовках приняло такие размеры, что в эти дни совершенно возможно было захватить власть в Берлине. Правительство защищалось на Вильгельмштрассе при помощи невооруженной толпы рабочих-социал-демократов. Никаких военных сил около здания правительства не было, и мы знаем теперь из судебных показаний Гренера, что Эберт был готов бежать из Берлина, дабы вернуться туда с войсками. Но никто массам на улицах не указывал никаких боевых целей. Роза считала, что

если не восстанет провинция, взятие власти в Берлине есть бессмыслица. Массы захватывали здания, не имеющие никакого стратегического значения, как, например, здание «Форвертса».

В Берлине существовала группа русских коммунистов-военнопленных. Я организовал из них разведку. Послал их на несколько узловых пунктов железной дороги около Берлина и в его окрестности. От них я получил сведения, что около Далема помещается какой-то военный штаб, что туда ездят и оттуда возвращаются самокатчики и автомобили. В среду утром я получил сведения, что там находится Носке. Было ясно, что правительство организует военную силу против Берлина. По требованию ЦК, я не покидал своей квартиры, ибо Либкнехт утверждал, что мой арест может очень затруднить положение: скажут, что восстание организовано русскими. Я вызвал члена ЦК Дункера, и через него послал письмо в ЦК, извещающее о военных подготовлениях Носке и указывающее на то, что если мы не намерены брать власти, то незачем доводить в данный момент дело до вооруженного столкновения, которое кончится разоружением неорганизованных рабочих. Я предлагал кончить забастовку протеста и выдвинуть лозунг перевыборов советов, которые должны сдать власть буржуазии. Ответ Розы принес мне Павел Леви. Роза считала, что независимцы добьются соглашения с правительством и незачем нам брать на себя роль бьющих отбой. С Либкнехтом связь порвалась. И у меня, и у ЦК. Он окунулся в движение

и сидел где-то на пивоваренном заводе Бецоу с представителями независимых рабочих. В четверг ночью пришел ко мне Леви. Мы считали, что, в виду полной дезорганизации Центрального Комитета, надо взять инициативу в свои руки. В пятницу утром должен был состояться большой рабочий митинг в Фридрихсгсйме. Мы решили туда отправиться и повести демонстрацию к зданиям, занятым рабочими, в первую очередь к «Форвертс», и снять рабочих, дабы не допустить безнадежного вооруженного столкновения с правительственными войсками. Чтобы не попасться по дороге (были сведения, что часть войск уже в городе), мы решили переодеться в солдатскую форму. Мне принесли товарищи из Риксдорфа так фантастически потрепанный солдатский костюм, что, когда я с Леви на следующий день вышел на улицу, на нас было обращено всеобщее внимание, и мы должны были вернуться домой. Пока я сумел принять христианский вид, мы получили уже сведения, что здание «Форвертса» окружено и штурмуется войсками. Маленькие вспышки, которые были в Киле и Бремене, уже были подавлены.

Роза сидела спокойнейшим образом в редакции «Роте Фане», и Леви стоило величайших усилий уговорить ее уйти из помещения, на которое в первую очередь надо было ожидать нападения. Началась беготня, искание конспиративной квартиры для Розы и Карла. Карл настаивал на том, чтобы во вторник созвать публичное собрание, на котором будут выступать он и Роза.

Вдруг мы получаем «Форвертс», в котором напечатано факсимиле документа за подписью Либкнехта и Ледебура, извещающее о низвержении правительства Эберта и образовании правительства Либкнехта и Ледебура. Этот документ был подписан 6-го, в среду, без ведома ЦК.

После смерти Розы и Карла, Леви рассказывал мне о впечатлении, которое этот документ произвел на Розу. Она сидела с Либкнехтом на конспиративной квартире, когда принесли газету — уже после разгрома движения. Увидев злосчастное факсимиле, Роза спросила Либкнехта: «Что сие означает?». Он, смущенный, ответил ей, что хотел занять здание военного министерства, и когда от наших людей затребовали бумаги о низвержении старого правительства, то он продиктовал этот документ и подписал. Роза весь вечер ничего не говорила. Ясно, что Либкнехт увлекся идеей создания переходного правительства левых независимцев и предпринял этот шаг без ведома ЦК.

В городе шла стрельба. Везде разоружали рабочих. 16-го утром мы узнали, что ночью были арестованы Либкнехт и Роза. Созвали заседание ЦК на 6 часов вечера, дав ряду товарищей задачи немедленного выяснения условий ареста и места пребывания арестованных. Отправляясь на заседание, я купил газету, и узнал из нее, что их уже нет в живых.

В приемной у врача-коммуниста сидели молча: Тальгеймер, Эберлейн, Леви, если не ошибаюсь, и Пик. В другой комнате я писал воззвание о совершившемся факте. Берлинские рабочие были так раз-

громлены, что нельзя было думать о немедленной забастовке. Весь город находился в руках озверевшей солдатчины, состоящей из бывших офицеров и унтер-офицеров, и вооруженного до зубов студенчества, которое призвал под оружие бывший наш совместный товарищ и друг — Конрад Хениш, прусский министр просвещения. Надо было в первую очередь собрать партийное ядро, восстановить связи и выяснить, как были убиты Роза и Либкнехт. За выяснение взялся Леви. Эберлейн организовал заново связь с провинцией. Мы начали разыскивать по тюрьмам Тышку. Но скоро он сам явился, сбежав из-под ареста. Старик пришел ко мне на квартиру, постаревший на десяток лет. Он начал говорить взволнованно о старых наших спорах, говорил о том, что Розы нет, что надо подобрать всю старую группу; беспокоился насчет судьбы Мархлевского. Мы условились встретиться на следующий день в маленькой голландской чайной, на Нолендорплац. Когда на завтра встретились, Тышка начал уговаривать меня уехать на время в Бремен или Мюнхен, указывая на то, что социал-демократы взяли курс на истребление нас и что надо нам переждать и некоторое время не выглядывать. Я спросил его: намерен ли он сам уезжать? Он, улыбаясь, ответил, что это не аргумент, ибо должен же остаться кто-то, который напишет ему некролог. Я отказался ехать, ибо ясно было, что надо собрать группу, хотя бы для издания центрального органа партии.

Когда мы выходили из чайной, вдруг Тышка схватил меня за руку и повел к столбу с пла-

катами. Я прочел плакат, назначающий награду тому, кто укажет место моего пребывания. Тышка потребовал, чтобы днем я не покидал квартиры, если уж отказываюсь уезжать.

## VI. АРЕСТ.

Я остался. Снимал я две комнаты у вдовы военного врача. Бумаги прислал мне Книф из Бремена за подписью Хлопкового комитета в Бремене. Как всегда при конспиративных делах, надо было выдумать гипотезу, об'ясняющую: во-первых, почему я днем совсем не выхожу из квартиры, во-вторых, почему очень много диктую, и, в-третьих, почему у меня находятся русские книги. Я разыгрывал полунемца, полу-поляка из Позена, который был гражданским пленным в России и который теперь пишет мемуары. Хозяйка была очень доверчива и обращалась ко мне с просьбой подписаться на протесте против травли Вильгельма II Антантой. Врач-коммунист, навестивший меня, приказал мне в ее присутствии очень мало выходить из дома и предписал мне диэту, а к ней обратился с вопросом: не может ли она варить для меня обед? Я мог свободно весь день работать и откатывать до тысячи строчек статей, воззваний и брошюрок. И сидел бы я у нее, как у бога за печкой, если бы не болтовня не привыкших к конспирации товарищей машинисток. 12-го февраля я кончил диктовку, пообедал и взялся за дальнейшую работу, когда с криком "руки вверх!» ворвались полицейские агенты в ком-

нату, держа в руках ручные гранаты. Я предложил им спрятать гранаты, указывая на то обстоятельство, что бросание гранат в комнате может и для них иметь не совсем удобные последствия. Они послушались моего разумного совета и спросили меня, не являюсь ли я господином Радеком. Отрицать себя не имело смысла, ибо присутствие мое доказывало наличие моих рукописей и прочих бумаг. Начался тщательный обыск, при котором беспокойство агентов в первую очередь вызвал флакон со средством против боли зубов (в газетах сообщали позже, что у меня при аресте найдена была целая аптека ядов). После обыска меня, совместно с двумя машинистками, перевезли в полицейское управление Берлина. Там был составлен только формальный протокол, после которого, в сопровождении пяти агентов, я отправился в тюрьму при моабитском суде. Агенты справлялись у меня по дороге, получат ли они награду за то, что меня нашли. Чтобы узнать, откуда они узнали о моем месте жительства, я сказал, что это зависит от того, нашли ли они меня при помощи наружного наблюдения, или же им было донесено, где я живу. Они рассказали мне чистосердечно, что в нашем союзе молодежи говорили, что тов. Лина Беккер работает у меня. Тогда они установили наблюдение за Линой Беккер и пришли по ее следам на квартиру. Среди этих приятных разговоров мы приехали в Моабит. Большое угрюмое здание было переполнено солдатней. Там расположился со своим штабом начальник охраны города, полковник Рейнгардт. Меня ввели в ко-

ридор и доложили о милом госте. Началась суета. Вдруг подошел ко мне молодой офицер и предложил мне любезно сложить руки на спине. Я еще не догадался, зачем ему нужна такая поза, когда почувствовал на руках стальные наручники. Солдатня расступилась. Ко мне подошел громадный детина и предложил повести «этого зверя» в канцелярию, чтобы к нему присмотреться.

Меня повели в канцелярию. Это была большая комната с двумя дверьми: одна выходила в коридор, а другая — в соседнюю комнату, имеющую тоже прямое сообщение с коридором. В комнату за мной втиснулась целая куча офицеров, унтеров и солдат. Полковник Рейнгардт обрушился на меня с площадной бранью и угрозами. Я молчал. Вдруг я увидел, что, по его указанию, несколько человек вышло в коридор, и я услышал, что они входят в соседнюю комнату, двери из которой в канцелярию Рейнгардта были приоткрыты. Оглянувшись, я увидел, что они задержались за мною у дверей. Мне стало моментально ясным, что Рейнгардт приказал им схватить меня с тылу и бросить о землю. Я инстинктивно сделал три шага в угол и начал ругать Рейнгардта такими же самыми бранными словами. Он на момент онемел, как зверь, готовящийся к прыжку и получивший вдруг удар между глаз. С той скоростью и ясностью, с которой мысль в такие моменты работает, я понял, что единственный шанс на спасение заключается в том, чтобы посеять у врага сомнение, напугать его. Я начал кричать на Рейнгардта, доказывая, что великолепно

понимаю, что он затевает, но чтобы он помнил, что эта его солдатская сволочь выдаст его с головою позже. Он стоял, опустив голову, как бык, и я чувствовал, что следующая минута решит: броситься ли он сам на меня или нет. Я заметил среди людей полицейского комиссара и агентов, которые меня привели. Я обратился к ним:

— Или полковник Рейнгардт имеет право принять арестованного, тогда вам нечего здесь торчать, берите квитанцию и убирайтесь к чорту! Или он не имеет права меня принимать, тогда ведите меня в тюрьму. Иначе, вы отвечаете за то, что здесь может случиться.

Полицейский комиссар обратился к Рейнгардту, требуя квитанцию в приеме арестованного. Рейнгардт заметался и закричал: «Я вам не тюремщик!». Вызвали директора тюрьмы. Он заявил, что тюрьма переполнена, и он арестованного принять не может. Тогда полицейские затребовали охрану, автомобиль, чтобы отправиться со мною на Лертерштрассе. Рейнгардт, ругая их площадной бранью, выдавал распоряжение и писал какое-то письмо. Мы вышли в коридор. Вдруг я увидел у колонны коридора с двух сторон скопившихся солдат. Они стояли, небрежно прислонившись к стене. Они, видно, рассчитали, что я в темном коридоре упаду через их ноги, и что тогда в суматохе они набросятся на меня. Я обратил внимание на это полицейского комиссара. Он скомандовал агентам встать в карре, взял меня в середину, растолкал солдат и вышел на улицу.

Перед судом — трамвайная остановка, у которой стояла толпа народа (это было вечером, когда мелкий чиновный люд и рабочие отправляются домой). Выбежал офицер и пытался натравить на нас толпу, крича, что ведут меня, большевика, организатора спартакистского восстания. Но толпа не реагировала. Солдаты бросили меня на грузовик, уставили пулеметы, агенты влезли за мною, и мы двинулись на Лертеритрассе.

Вестибюль тюрьмы был хорошо освещен. В нем шлялись солдаты, матросы. Вышел молодой офицер, если не ошибаюсь, по фамилии Шарфенштейн, агенты зарапортовали, передали ему письмо от полковника Рейнгардта. Он прочел письмо и был очень удивлен. Вызвав старого, гнусного помощника начальника тюрьмы, он дал ему какие-то распоряжения. Я стоял несколько минут среди солдат, осматривающих меня больше с интересом, чем с враждою. Меня повели по длинным коридорам вниз, в подвал, открыли камеру, разделенную железными решетками на три части. В середине в клетке находилась койка. Меня раздели до-нага, подробно обыскали, приказали одеться и, вместо старых наручников, принесли железную плиту в 20 сантиметров ширины, семидесяти сантиметров длины, приказали в отверстия положить руки и после приковали их к ней. Плиту же цепью приковали к стене. Перед выходом Шарфенштейн еще раз ощупал мои карманы и вынул из них маленький сафьяновый томик, открыл его и увидел первую часть «Фауста» в издании Инзельферлага. На лице его видно было большое смуще-

ние. В продолжение нескольких минут он вертел бессмертное сочинение Гете, как бы ища любимых мест. Потом вернул мне книгу и, козыряя, сказал:

— Извините меня, я действую по прямому приказу полковника Рейнгардта. Ложитесь спать, вы наверно устали. Можете быть спокойны, я поставлю верную стражу. С вами ничего не случится.

Это был молодой студентик из университета, попавший в офицеры ополчения. Видно, любитель классической литературы. Большевиков он представлял себе, как бандитов. Если бы нашел в моем кармане бомбу, он бы не удивился, но Фауст смешал все его представления и чувства. Выходя, он вернулся еще раз и протянул мне фуфайку под кандалы, чтобы они не врезывались в тело. Я лег спать. За дверями я слышал разговор солдат о том, что из винтовки не удастся, но что из револьвера можно через отверстие в двери стрелять, что надо эту собаку прикончить. Стоящий на страже солдат сердитым голосом начал говорящих разгонять, крича, что им нечего здесь искать, что он отвечает головою перед поручиком за арестованного.

Ночь я проспал великолепно, без всяких снов. Утром меня разбудили. Тюремный надзиратель снял с меня кандалы и повел меня мыться. По дороге, ругаясь, он рассказал мне, что он в тюрьме с 90 года и никогда еще не видел, чтобы таким образом заковывали людей.

Камера, в которую меня посадили, представляла собою карцер для буйствующих убийц. Перед обедом пришел судебный следователь фон-Цитен, принесли

стол, пишущую машинку, за которую сел протоколист. Раньше, чем он начал допрос, я спросил его, нахожусь ли я в руках военных властей или следственных. Он ответил, что я нахожусь в его руках. Тогда я спросил его, на основе каких параграфов следственного устава я закован. «Нет никаких причин для заковывания вас», сказал он и приказал вызвать начальника военного караула поручика Шарфенштейна. В этот момент вошел в камеру присяжный поверенный Вайнберг — независимец, с которым я условился, чтобы на случай ареста он взял дело в свои руки. За ним явился Шарфенштейн и заявил, что полковник Рейнгардт запретил ему снимать с меня кандалы и запретил пускать ко мне кого-нибудь другого, кроме следователя. Он попросил моего защитника удалиться из камеры. Тогда я заявил фон-Цитену, что если не он здесь хозяин положения, то мне незачем давать ему об'яснения. Цитен обязался немедленно обратиться в министерство юстиции. Уходя, он спросил меня, не может ли он чем-нибудь мне помочь. Я попросил его взять из денег, конфискованных при мне, необходимую сумму и купить мне Шекспира. На следующий день утром тюремный надзиратель принес мне Шекспира. Несколько часов позже с меня сняли кандалы. Я с большим удовольствием взялся за чтение, когда ко мне явился полковник Рейнгардт. Учтиво поздоровавшись, он заявил, что если бы не эти проклятые жиды Шейдеман и Эберт, которые боятся большевиков, то он бы меня расстрелял, но что ему приказали меня

не трогать и даже снять кандалы Я встал на защиту арийского происхождения Эберта и Шейдемана и спросил его, почему он так горит желанием меня расстрелять. Он добродушно ответил, что считает меня шпионом. — Полноте, что же я у вас мог шпионить? — спросил я его, — ведь у вас армии никакой нету. — Он снова выругал жидов, которые, боясь Антанты, распустили армию и, вероятно, позволят закабалить страну. После его ухода, меня повели из подвала наверх, в чистую камеру, где я нашел уже свои вещи и, кроме того, прекрасный окорок. Я догадался, что Леви вернулся от своих родителей, живущих в маленьком городишке Вюртемберге, и привез с собою блага сельской жизни, часть которых уступил мне, как утешение в тюремной жизни.

## VII. СЛЕДСТВИЕ.

Скоро пришел фон-Цитен, и началось следствие. Следователь фон-Цитен представлял собою тип образованного юриста, не только корректного, но и порядочного; видно было, что революция его потрясла. В нем было большое любопытство насчет мировоззрения большевизма. Обвинение мне предъявлено было в организации спартаковского восстания, которого, как известно, совсем не было. Я предложил ему доказать это обвинение, раз он его предъявляет. Но понятно, что никаких доказательств недоказуемого нельзя было предъявить, и поэтому щепетильный фон-Цитен был в большом смущении. В наших партийных кругах разговаривали о моем

письме в ЦК, требующем окончания демонстрации. Сведения об этом письме пошли дальше к независимцам, а через них к соцпал-демократам. Конрад Хеннш или Хайман передали эти сведения Цитену. Он уцепился за этот выход из положения и начал допрашивать меня, существует ли такое письмо, не могу ли я его представить. Копия этого письма была в моих руках, но, само собой понятно, я не мог защищаться таким образом, что я, мол, предостерегал, а меня не слушали. Поэтому я заявил, что не моя обязанность доказывать свою «невиновность», а судебные власти обязаны доказать мою вину. Прокуратура приказала раскинуть сеть следствия пошире. Начали искать следы моей деятельности и в Галле и в Гамбурге. Тащили свидетелей, с которыми выходили презабавнейшие трюки. Один свидетель, якобы меня видевший во главе толпы, атакующей Александровские казармы, утверждал, что видел-то он меня очень хорошо, но что я был тогда значительно выше и толще и, кроме того, носил на шее шарфик; но так как я теперь без шарфика и поменьше ростом, то он сего приключения об'яснить никак не может. Но самое лучшее вышло с гамбургскими свидетелями. Это были три чиновника профсоюзов, которые на очной ставке со мною с полной решительностью заявляли, что видели меня в продолжение целой недели ежедневно приходящим в гамбургскую ратушу, в кабинет доктора Лауфенбергера, председателя гамбургского совета. На вопрос следователя — когда это было? — они об'яснили, что это было в неделю берлинского восстания и что,

видимо, я приезжал организовать восстание в Гамбурге. Я спокойно признался в том, что всю неделю провел в Гамбурге. Цитен спохватился. Меня обвиняли в организации восстания в Берлине — и вдруг свидетели обвинения доказывают, что я был в другом месте. Ясно было, что из следствия ничего не выходит. И мы вели часами дискуссию о коммунизме, что было, повидимому, очень полезным для тощего протоколиста.

За все время следствия я держался в строжайшей изоляции. Помещен я был в коридоре уголовных, в котором сидели Ледебур и старый спартаковец Майер. Это должно было предохранять нас от связи с политическими заключенными. У дверей стоял особый солдат из бригады Кесселя, отборной организации убийц. Уже в первые дни мне было разрешено выписывать газеты и получать книги. Сначала я выписывал две, три газеты, но позже, познакомившись ближе с Цитеном, получил разрешение на любое количество. Я выписал себе всю руководящую мировую прессу, экономические органы, и завел картотеку, разрабатывая все интересующие меня вопросы. Книг у меня скоро собралось так много, что мне отвели для них другую камеру. Занимался я в первую очередь историей диктатуры в буржуазных революциях. Но в уют моей камеры хлестала от времени до времени бурная волна революции. Во время мартовского восстания, ночью я проснулся от пулеметного огня. Ракеты осветили внезапно камеру. С криком и визгом высыпали роты солдат из тюрьмы на улицу. Я оделся и

прислушивался к пальбе. «Наши штурмуют тюрьму», пронеслось в мозгу. «Или через полчаса будем свободны, или, в случае отражения атаки, солдаты нас прикончат». Я написал несколько слов к товарищам, и, адресовав письмо Гаазе, спрятал его в задний карман, надеясь, что в случае чего прощальное письмо может попасть по адресу. Но через полчаса все утихло. На мой вопрос, что случилось, солдат ответил молчанием. На следующий день я узнал от тюремной стражи, что это майор Кюльвайн устраивал проверку своих солдат на случай нападения. Беспрерывно приводили в тюрьму арестованных. Солдаты били их в вестибюле до полусмерти. Крики истязуемых доходили к нам беспрерывно, ибо от вестибюля мы отделялись только перегородкой из тонких досок. У этой перегородки скоплялась распоясанная солдатня и, называя по имени Ледебура, Майера и меня, угрожали нам расправой. Снесшись с Ледебуром и Майером, я послал телеграмму министру юстиции о царивших в тюрьме порядках. Он пришказал усилить караулы. После подавления движения снова воцарилась тишина. Через окно я смог видеть забаштованных рабочих.

Меня водили на прогулку одного, с солдатом и стражником. Водили меня на задний двор, куда не пускали арестованных. Один раз в коридоре встретил старика Ледебура, возвращавшегося с прогулки. Он бросился ко мне здороваться. Солдаты хотели нас отделить. Но горячий старик заорал на них так, что они отступили, и мы могли несколько минут разговаривать. Напротив двора, на котором я совершал свои

прогулки, находилась казарма, из которой солдаты к нам присматривались. Во время одной из прогулок я услышал выстрелы, но, привыкнув к постоянной стрельбе, не обратил на них внимания. Вдруг пули ударили в кучу камней в середине двора и провожающий меня солдат закричал: «Становитесь к стене», а сам прыжком вскочил к ней. Ясно было, что стреляли по нас. Мы прервали прогулку. Сбежалось начальство. Началось следствие. Но виновных не нашли. В другой раз (я об этом узнал только из газет) явился в тюрьму поручик Симонс, только что прославившийся тем, что захватил в городском музее французские знамена и сжег их. Он предъявил бумагу от военных властей с требованием передать меня ему. Директор тюрьмы переспросил по телефону у военных властей. Бумага оказалась поддельной. Но что после этого случилось с Симонсом — из газет я уже не узнал.

Тюремная стража относилась ко мне вполне по-товарищески. Она сама была затронута революционными настроениями. Когда из тюрьмы бежало десять товарищей с коммунистом Будихом во главе, я в разговоре с тюремным надзирателем высказал деликатное предложение, что тут дело неладно. Он ответил мне смеясь:

— Видите, если бы во время моей службы я заметил, что кто-то бежит через забор, то я бы сам не обратил внимания и собаку заставил бы молчать; ибо у вашего брата хороший браунинг, а у меня старое ружье, и если он меня ранит или,

паче чего, убьет, то я даже не уверен, получит ли моя жена пособие. Теперь неизвестно, кто правительство и как долго будет правительство. Мы нейтральны. Если приведут Эберта, то я его так же хорошо приму, как и вас.

Только солдаты свирепствовали в тюрьме, но и они привыкли к нам. Солдат из бригады Кесселя, который меня стерег, предложил мне перед пасхой дать ему денег, чтобы его жена испекла для меня хороший кулич.— Она печет великолепно,— хвастался он. Я дал ему несколько марок. И, действительно, в пасху он принес мне кулич. Из осторожности, я угостил его сначала куличом. Только после сам ел. Искусство его жены было выше похвалы. Разговорились. Он — безработный, металлист. На войне отвык работать. Дал себя завербовать. Служит, но смотрит в оба. Таких наверно много было в контрреволюционных бандах. Это позволяло надеяться, что в случае серьезной борьбы они не очень будут драться.

Среди тюремной стражи только один безрукий надзиратель обращал на себя мое внимание угрюмостью и безмолвием. Его товарищи называли его сволочью и монархистом. Он корректно здоровался со мной, но никогда не разговаривал. Во время ночной службы он часто присматривался через отверстие, и видно было, что мой образ жизни и моя ночная работа вызывали в нем какие-то сомнения. Он делался приветливее, хотя молчал и дальше. Еще со времен революции 1905 года я имел выработанный метод отношений

к тюремщикам, солдатам и рядовым жандармам: не держаться по-барски, чтобы не восстанавливать против себя их демократических чувств, но и не навязываться с разговорами, чтобы не вызывать впечатления заискивания. Так я и держался по отношению к интригующему меня молчаливому надзирателю. Пришел день, когда и он заговорил. Утром в газетах я прочел условия, поставленные немцам в Версале. На прогулке провожал меня мой стражник. Он вдруг взволнованно заговорил:

— Если нам навяжут эти требования, то значит, что бога нет,— сказал он с дикой ненавистью.

— Если бог молчал, когда вы хозяйничали в Бельгии, то почему он вдруг теперь должен заговорить?— ответил я ему.

Началась бешеная перепалка. На меня хлынули все аргументы, которыми германский империализм доказывал народным массам Германии справедливость своей войны. Я вцепился в бедягу, в голове которого осталось все, чем германская буржуазия и германская социал-демократия защищали войну. Понятно, я его в полчаса не убедил, но он начал брать от меня книги и читал их ночами. Мы дискуссировали во время прогулок. Мы дискуссировали ночью, когда он стоял на карауле. Кирпич за кирпичом выпадал из здания его мировоззрения...

Следствие тянулось без конца, и следователь заявлял мне, что ему запрещают окончить работу, ибо не знают, что со мной делать. От времени до времени я получал доказательства, что, независимо от следствия, идет другая борьба за мое освобождение.

Один раз утром я был поражен удивительной картиной. Двери камеры открылись, и вошел старший надзиратель, держа в руках с достоинством большую фаянсовую посуду. За ним вошел чистильщик из уголовных и убрал парашу. На ее место была водворена опая посуда, которая оказалась ночным горшком. Удивленный, я спросил надзирателя, что означает эта перемена мебели. Он ответил мне, что причин сего явления не знает, но что начальник тюрьмы приказал ему принести мне этот привиллегированный сосуд. Я немедленно пришел к убеждению, что тут имеет дело странное отражение каких-то изменений в мировой политике. И, действительно, из лондонского «Таймса» я узнал, что советское правительство Украины назначило меня полпредом в Берлине и затребовало моего освобождения и водворения в здание полпредства на Кронпринценуфер. Так как разрыв дипломатических отношений произошел между советским правительством России, а не Украины, то дорогой мой друг Христиан Георгиевич Раковский решил попробовать вытянуть меня из тюрьмы назначением на дипломатический пост. Немецкое министерство иностранных дел, возглавляемое социал-демократом Августом Мюллером, не согласилось с Раковским, но решило все-таки позаботиться о положении непризнанного дипломата, сидящего на Лертерштрассе. Оно запросило министерство юстиции о моем положении. Инструмент правосудия запросил тюрьму, а начальник тюрьмы решил проявить любезность при помощи подарка первой необходимости. «Малые причины

имеют часто большие последствия»,— сказал кто-то из стариков, занимающихся в древности формулированием человеческого опыта в красивых изречениях. Тут большие причины привели к маленьким последствиям, фигурально говоря, ибо названный сосуд был достаточно велик для своей цели.

Через Датский Красный Крест я получил из Киева посылку. Там были и киевские конфеты, и консервы из кукурузы, но все они носили следы своего старого буржуазного происхождения. Гордостью и радостью наполнила меня только бутылка клюквенного экстракта, уже советского производства. Она показала мне, что все-таки промышленность еще не упала в Советской России.

Самое тяжелое — это было отсутствие советской прессы и непосредственных сведений о нашем положении. Я вырезывал сведения из буржуазных газет всего мира, взвешивая их, отсеивая чепуху и пытаясь создать себе реальное представление о ходе борьбы. Часто маленькое сведение, не совсем понятное для иностранного читателя, бросало яркий свет для меня. Вот сведение, что Миша Лашевич назначен командующим Москвы. Я знал, что Ильич считает его человеком с нервами, как канаты. Назначение его означало для меня, что под Орлом дело плохо обстоит, что Ленин считается с возможностью, что придется отступать дальше. В английских газетах промелькнуло сведение, что в Екатеринбурге строится радио-станция. Это было для меня доказательством, что, на случай захвата Центральной России белыми, подготовляется дальней-

шая борьба. Время, когда Деникин стоял у Орла, а Юденич у Петрограда, было самое тяжелое. Но даже сведения буржуазной печати показывали, с какой энергией республика защищается. Я получил книгу Рензома «Шесть недель в Советской России». Она была тогда лучшим средством нашей пропаганды. В «Манчестер Гардиен» появились статьи профессора Гуда. В них было много увлечения английского гуманиста, но через туман его рассказов все-таки было отражение бешеной мощи, с которой дралась Советская Россия. В воскресенье утром в белогвардейской газете «Призыв» появилась телеграмма из Гельсингфорса о падении Петрограда. На момент кровь отхлынула от сердца, но через мгновенье пошло раздумье: не может иметь дохлая белогвардейская газета раньше сведения, чем английский морской штаб. Почему Рейтер не доносит об этой великой победе контр-революции? Я закрутился около одного из тюремщиков, послал его к независимому депутату Розенфельду. Розенфельд передал, что немецкое правительство не имеет никаких сведений. В понедельник утром не было никаких сведений. В понедельник вечером — известия о передвижении нашей кавалерии на Гдов, в тыл противника, и о контр-атаках от Царского Села. Во вторник сведения: Юденич отбит от Петрограда.

Я переписывался в эти дни с товарищами. Они попросили меня написать воззвание, призывающее к демонстрациям. Из тюрьмы я запросил вождя левых независимцев Штекера, что они думают предпринять, дабы показать русским рабочим, что гер-

манские рабочие с русским пролетариатом. Штекер ответил: «Мы созываем собрание на 7-е ноября». Я ругал его последними словами. Но он имел один ответ, что залы заказаны, что нельзя менять.

## VIII. ПОЛИТИЧЕСКИЙ САЛОН В ТЮРЬМЕ.

Следствие было закончено. С ним кончилась моя изоляция. Меня держали в тюрьме, заявляя, что выпустят, когда Советская Россия вернет заложников, взятых за меня, и когда будет путь для моей отправки. Кончилась моя изоляция. Я мог иметь свидания. Кроме тов. Фриды Винкельман, старой подруги, германской учительницы, которая с невиданным самоотвержением кормила у себя и воспитывала детей наших нелегальных товарищей и которая заботилась обо мне в тюрьме,— первый, кто прибежал ко мне, это был мой старый друг—швейцарский товарищ Мор, бывший член I Интернационала, а позже всю свою жизнь бессменно стоявший на левом фланге швейцарского рабочего движения. В несколько дней у меня завелся в тюрьме политический салон. Одним из первых гостей был бывший великий визирь, глава младотурецкого правительства, *Талаат-паша* и его военный министр, герой защиты Триполи, *Энвер-паша*.

После разгрома Турции они жили полулегально в Берлине (Антанта требовала их выдачи) и думали о том, как вести дальнейшую защиту Турции. Энвер бежал после разгрома нелегально через Советскую Россию в Германию и первый внушал немецким военным,

что Советская Россия — это новая растущая мировая сила, с которой они должны считаться, если хотят на деле бороться против Антанты. Талаата я знал по Брест-Литовску. Там я его видел за столом победителей. Тут, в берлинской тюрьме, он был сокрушен, и воспоминал о том, что он сын телеграфиста и сам бывший телеграфист, и говорил о том, что магомстанский Восток может освободиться от рабства, только опираясь на народные массы и на союз с Советской Россией. Свои отношения с Кемаль-пашой, возглавляющим защиту Турции после поражения в мировой войне, они представляли таким образом, что он принужден отмежеваться от павшего младотурецкого режима, но что между ними нет никаких разногласий по существу и что они за границей организуют ему помощь. Я уговаривал их ехать в Россию, что Энвер-паша позже и сделал. Талаат-паша был убит армянами, которые отомстили ему за бесчеловечную резню. Мы много раз говорили об армянском вопросе. Талаат не защищал своей политики, указывал только, что, окруженные со всех сторон Антантой, которая использовала армян, как элемент разложения, они были принуждены прибегать к самым жестоким мерам.

В то же самое время пробрался в Берлин тов. Копп и, под видом представителя по вопросу о военнопленных, устроился на положении полулегального полпреда. От Копа я узнал подробно о положении в России, получил газеты и новые русские книги. Особенное впечатление произвела на меня дискуссия по партийной программе на IX

Съезде, которую я перевел и снабдил вступлением. Копп начал искать путей для того, чтобы вырвать меня из тюрьмы. Затруднение состояло в том, что Москва боялась выпустить раньше заложников, чем я вернусь. Немцы меня не хотели выпустить без возвращения заложников, а, кроме того, между Германией и Советской Россией шел сплошной фронт от Черного моря к Балтийскому. Начались наши переговоры с Эстонией. Я был назначен советским правительством в мирную делегацию, но как пробраться в Эстонию? Литовцы выдвинули свое требование: их правительство хотело получить своих пленных, которых нельзя было выдавать без получения наших товарищей, томящихся в литовских тюрьмах. Литовский посол в Берлине требовал бензина для автомобиля. Вдруг я получил от иезуитского патера (освобожденного из тюрьмы совместно с виленским архиепископом Роопом) сведение, что между Пилсудским и нами заключен тайный договор, на основе которого Польша обязалась пропустить меня. Но немцы не поверили этому, пока не получилась соответствующая телеграмма из Варшавы. Тогда мне разрешили переехать на частную квартиру барона Райгница, из которой я должен был начать свое путешествие.

## IX. ПРОЩАНИЕ С ГЕРМАНИЕЙ.

Четыре шпика явились ко мне в тюрьму под вечер и, несмотря на мои протесты, выбросили меня из тюрьмы. Я протестовал потому, что мне

надо было, по крайней мере, день времени для того, чтобы сложить книги. Но они были неумолимы. Как насильно меня водворили в тюрьму, так же насильно и выгнали. С большим шумом привели меня на квартиру к барону Райгницу и устроили в спальне. Надо было долго переговариваться со штабом Носке, пока его ад'ютант, майор Гильза, удовольствовался пребыванием одного шпика в передней. Когда я встал на следующее утро, барон Райгниц спросил меня, не возражаю ли я, чтобы с нами завтракал полковник *Бауэр*, начальник немецкой артиллерии в войне и первый советник Людендорфа. Я, понятно, не возражал. В столовой я нашел человека с движениями кошки, совсем не похожего на военного, и мы начали разговор о внутреннем и внешнем положении Германии. Он ушел. Следующий гость был *Эрнст Гейльман*, один из главарей германской социал-демократии.

Технические переговоры с Польшей насчет переезда затягивались. Чтобы не злоупотреблять гостеприимством барона Райгница, не привыкшего к такому кавардаку, который у меня завелся, мне пришлось переехать на квартиру полицейского комиссара Густава Шмидта, где я прожил еще несколько дней. В передней всегда сидел шпик и глотал лепешки из картофеля. Я повел с ним разговоры о его материальном положении, которое было очень бедственно, и скоро парня так приголубил, что он купил мне из полицейских запасов кожаный костюм и большой маузер. Он был обязан записывать моих посетителей, но довольствовался

тем списком, который я ему давал. Он был очень поражен, когда первым посетителем на моей новой квартире явился бывший министр иностранных дел контр-адмирал *Гинце*.

Гинце, маленького роста, изящный, с неподвижным китайским лицом, произвел на меня сильное впечатление. Это был человек, глубоко потрясенный судьбами Германии. Он рассказывал мне очень много о настроениях рабочих в Силезии, где он имел имение; он с ними много разговаривал и считал, что революция состоит в том, что рабочие больше не хотят работать на капиталистов. Католические рабочие говорили ему о несправедливости капиталистического строя и необходимости организации новой жизни. Буржуазию они ненавидят. Германия вряд ли поднимется без изменения своего строя. Он стоял за сделку с Советской Россией и заявил, что очень хотел бы видеть теперешние отношения внутри России собственными глазами. В 1905 году он был морским атташе при царском дворе и наблюдал тогда события в Питере; он много охотился в лесах России и наблюдал отношения помещиков к крестьянству; на основе своих наблюдений он был убежден теперь в окончательном крушении старой России. Он допрашивал меня о перспективах революции на Западе,— придет ли она раньше, чем Антанта с'ест Германию?

Ратенау привел ко мне главного директора Всеобщей Электрической Компании, старого, умного *Феликса Дейча*, который имел старые связи с Россией и знал очень хорошо русский технический мир.

Феликс Дейч относился очень скептически ко всякой возможности существования другого строя, кроме капиталистического.

— Вы признаете развитие от дикарей африканских лесов до директора Всеобщей Электрической Компании? — спросил я его.— Почему же вы думаете, что это развитие дальше итти не может?

— Во все эпохи,— ответил он,— существовал класс организаторов, и без него нельзя обойтись.

Что передовая часть пролетариата может быть организатором промышленности, впитывая в себя лучшие силы технической интеллигенции, он не верил. Работа, это—такая тяжелая вещь, что рабочие сами не заставят себя работать. Впрочем, пусть строй будет какой угодно, лишь бы только мы торговали с Всеобщей Электрической Компанией. Он деликатно спрашивал, не намерены ли мы им вернуть захваченных заводов. Когда я, смеясь, спросил, почему мы им должны делать подарки, он заохал по поводу моих извращенных взглядов. Но тоже просился в Россию.

Немецкие товарищи заходили ко мне уже целыми группами. Пришла милая и бодрая, как всегда, Цеткин с Леви, и мы выработали тезисы западноевропейского бюро Коминтерна — о мировом положении и тактике коммунистов. Затяжка отправки волновала меня. Мы заказали аэроплан, и я должен был лететь. Но вскоре я получил телеграмму от капитана Игнаца Бернера, начальника польской военной разведки, с назначением срока переезда через Польшу и отказался

от переезда на аэроплане. Позже польский черносотенный публицист Немоевский опубликовал ленту переговоров по юзу польского консула в Берлине с польским министром иностранных дел Патеком, из которой следовало, что велись переговоры о подкупе летчика, чтобы он спустился со мною в Польше, где я должен был оставаться заложником. Наконец, мы двинулись поездом к польско-прусской границе в Просткен. Провожал меня полицейский комиссар Шмидт с двумя агентами и теперешний советник немецкого посольства в Москве, бывший майор Гай. Я вез с собою в четырех громадных чемоданах всю основную экономическую литературу за первый послевоенный год, комплекты коммунистической печати, работы Эйнштейна, неизвестные тогда в России. В Просткене остановились мы в гостинице, хозяин которой кормил нас великолепно, приняв нас за пограничную антантовскую комиссию. Прикатили с экстренным поездом прямо на немецкую станцию. Тут я простился с немцами и сел в польский поезд.

## X. ЧЕРЕЗ ПОЛЬШУ.

До Белостока поезд сопровождал начальник разведки, пепеэсовец, капитан Бернер. Из Белостока комендантом поезда и сопровождающей меня стражи был молодой поручик Ясинский — высокий, стройный, похожий на грузина. Когда мы остались одни, он спросил меня меланхолично:

— Вы меня не узнаёте? Я был в декабре 1917 года комендантом Смольного.

— Как же вы попали в польскую армию? — удивился я.

— Я — поляк, инженер, член польской социалистической партии; считал долгом бороться против царизма и русской буржуазии; когда возникло польское государство, я вернулся; теперь служу в армии.

— И сражаетесь за польскую буржуазию против польских и русских рабочих?!

Он очень смутился.

— Положение в Польше переходное. Пока из Германии угрожает немецкая контр-революция, в Польше невозможна революция. Она бы означала гибель Польши. Независимость страны надо защищать. Но они, пилсудчики, очень не хотят драться с русской революцией; они боятся, что мы, победив белых, можем бросить войска на Польшу, чтобы получить совместную границу с Германией.

Несмотря на то, что поезд имел разрешение пропуска в первую очередь, он шел очень медленно. То железнодорожники заявляли, что что-то испортилось, то пути были запружены. Я имел возможность наблюдать на вокзалах польских солдат, видел французских и английских офицеров, шляющихся между польскими солдатами. На какой-то станции в Белоруссии гнали русских военнопленных в красноармейской форме. Увидев их, какая-то крестьянка застонала: «Дети одного царя, и друг друга убивают». Наконец, мы приехали в Лунинец. Поместились в маленькой даче, за городом, где жил Ясинский с несколькими молодыми поручиками. Повидимому, это было помещение штаба военной разведки или полевой

жандармерии. На прогулках я заметил, что пожилые офицеры с тревогой оглядываются на Ясинского.

— Чего они вас так не любят? — спрашиваю я его.

— Мы, пилсудчики, держим в руках главные позиции. Реакционное офицерство очень нас боится.

Молодежь из разведки смотрела на меня с нескрываемым интересом, но и страхом. Я осмотрелся в обстановке. На этажерках стояли те же самые книги, по которым я учился: Круля и Нитовского— «История польской литературы», Смоленского—«История Польши», Выспянский, Жеромский. Они были очень удивлены, что я, большевик, знаком с польской литературой. Я, смеясь, устроил им экзамен, на котором они, бедняжки, провалились. Все это была военная молодежь, которой не до книг было. Но мой авторитет в их глазах повысился, и они откровенно спросили меня: как же это я, воспитанный в польской культуре, могу быть большевиком и могу посягать на независимость Польши? Начались длинные дискуссии, в которых я убедил их, что Советская Россия не посягает на независимость Польши. Они наивно просили меня написать об этом статью. «Но ведь этой статьи-то ваша пресса не перепечатает»,— ответил я им. Они заявляли, что «Работник» наверно напечатает, а если бы отказал, то они будут статью распространять. Я сел немедленно и написал статью в форме письма к Дашинскому — вождю ППС. Они обязались статью доставить. И, действительно, когда я уже был в Советской России, статья появилась в «Работнике».

Начальником штаба фронта был генерал Сикор-

ский, позднее — военный министр и премьер-министр Польши. Он пригласил меня к себе на чай. Я нашел высокого мужчину с очень интеллигентным лицом. Начался долгий разговор об отношениях между Польшей и Россией, о русской революции.

— Вы победили,— сказал мне Сикорский,— благодаря тому, что мужик пошел за рабочим. Мы этого не допустим. Проведем аграрную реформу.

— Это легче сказать, чем сделать,— ответил я ему.— Неизвестно еще, что скажут об этом ваши помещики, ваш генералитет, связанный с помещиком.

— Интересы государства выше классовых интересов,— ответил мне генерал Сикорский.

Но в бытность свою премьер-министром Сикорский, видно, раздумал насчет аграрных реформ.

Он известил меня, что задержка в моей отправке об'ясняется каким-то нашим наступлением, и предложил мне послать телеграмму тов. Троцкому, с предложением остановки наступления.

Я боялся, что это — ловушка, что Сикорский для каких-то целей хочет иметь мою телеграмму, утверждающую, что Красная армия наступает. Поэтому я отказался послать такую телеграмму и послал по радио только извещение, что нахожусь в польском штабе фронта и прошу сговориться о дне и часе пропуска. На следующий день приехал красный командир, уполномоченный принять меня. На нейтральной зоне должен был ожидать нас наш патруль, но, благодаря тому, что линия была занята разными составами поездов, мы пробрались к нейтральной

зоне только поздно вечером. Никакого патруля не было. Ясинский со своим патрулем отказался пустить нас одних, заявляя, что он отвечает перед Пилсудским головою за меня и боится несчастного случая. Мы ему гарантировали возможность беспрепятственного возвращения, и он со своими отправился провожать нас до наших линий. Была прекрасная лунная февральская ночь. Снег хрустел под ногами, когда мы приближались к советским линиям. Выскочили наши стражи и приняли нас радостно. Начались разговоры между красноармейцами и польскими офицерами.

— У вас на шапке птица, недалеко полетит, хотя и орел,— говорил в споре красноармеец.— У нас звезда на все стороны мира светит.

Я слушал его глубоко взволнованный. Мы простились. Когда я Ясинскому подал руку, он вдруг бросился ко мне и начал меня обнимать. Красноармейцы смотрели удивленно. Где он теперь? Сражался ли он против рабочей революции или выбрался из трясины соглашательства?

Мы пришли к землянкам. Красноармейцы заварили чай из моркови и пустили граммофон с песнями Демьяна Бедного. Первый раз слышал я советскую пластинку. Скоро прибежал красноармеец и донес, что приехал «высокий комиссар». Это был поезд тов. Аралова, комиссара юго-западного фронта, если не ошибаюсь. Мы поехали в вагоне Скоропадского в Гомель. По дороге я узнавал все новости о положении. Под столом толкнул ногою какие-то тюки. «Это — наши деньги»,— сказал не без улыбки Аралов.

Денег было очень много. Но они очень мало стоили. За спички я уплатил в Гомеле, если не ошибаюсь, сто рублей. После митинга в Гомеле, поехали дальше. На какой-то станции ночью проснулся от звука Интернационала. На вокзале видел стройные ряды школы курсантов. Это было уже не то, что первого мая в 1918 году, когда я, увидев парад Красной армии, сказал с радостью Сокольникову:

— Смотрите, Григорьянц, уже ходить умеют!

А он с улыбкой ответил мне:

— Скоро и бежать научатся.

Передо мною стояла отборная часть, вышколенная в бою.

На другой станции мы застряли в снегу. Железнодорожники повезли меня в сельский совет. Председатель приветствовал меня, но, к моему глубочайшему удивлению, назвал меня Бела Куном. В газетах писалось много о возможности проезда тов. Куна, и этим об'яснялась ошибка предсельсовета. Но я не хотел начинать ответной речи с об'яснения, что я «Федот, да не тот» и поэтому отвечал от имени Куна. Какая разница!

Железнодорожники не могли сказать мне, когда приедем в Москву, поэтому я улегся спать. Вдруг услышал через двери голос Бухарина, жены и бас Демьяна Бедного.

— В такой торжественный день — и спит, скотина!

Родная Русь меня приняла. Мы поехали в Кремль, домой, и Чичерин, не давая мне позавтракать и шипя на Карахана, который глазел на столовую, заставил немедленно начать заседание с докладом о положении в Польше.

Библиотека Института Истории К. П. (б.)

МЕСС-
МЕНД
Н. А. КАРПОВ
ГРЫЗИКИ-
ХОЗЯЙЧИКИ
ЯКОБ ВАССЕРМАН
ЗОЛОТО
А. БЕЗЫМЕНСКИЙ
ИЗБРАННЫЕ СТИХИ
КАРЛ РАДЕК
СУН-ЯТ-СЕН
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ
ПОД ЮЖНЫМ
НЕБОМ
РАССКАЗЫ
М. ГОРЬКИЙ
РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
ВСЕВОЛОД ИВАНОВ
КОГДА РАСЦВЕ-
ТАЕТ СОСНА
РАССКАЗЫ
АЛЬБЕРТ СЫРКИН
ПОД ВОСТОЧНОЙ
ЗВЕЗДОЙ
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК"
Л. СОСНОВСКИЙ
О МУЗЫКЕ И ПРОЧЕМ
ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ
В. МАЯКОВ
СКИЙ
ОБЛАКО В ШТАНАХ
МИХ. ЗОЩЕНКО
ВЛ. ВАСИЛЕНКО
РАССКАЗЫ
РАССКАЗЫ
О ДВАДЦАТОМ
ГОДЕ
М. ГОРЬКИЙ
ДВА РАССКАЗА

50к.

Цена 15 коп.

28592

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

АДРЕС:

Москва 9, Тверской бульвар, д. 26, телефон 5 51-69.

Акц. Издат. О-во „ОГОНЕК“